

## О маме

Если этапы жизни семьи моего отца запечатлены в целом ворохе бумажек, оставшихся от всех времен и всех семейных перипетий, то о жизни маминой семьи свидетельств немного: десяток фотографий, пачка почтовых открыток, несколько ветхих бумажек и две справки: одна, почти истлевшая, с расплывшимися чернильными буквами и выцветшей печатью – о смерти бабушки, и свежая, новенькая, напечатанная на принтере – о дедушкином расстреле. Между справками расстояние в шестьдесят лет, а между смертями ровно год, день в день.

Дедушка мой, Фауст Львович Дасковский, родился в селе Бурьнь Курской губернии 20 июля 1883 года, по старому стилю 2 августа. Из сохранившегося черновика анкеты, которую заполнял дедушка для поступления на работу, известно, что окончил он пять классов гимназии, в царской армии не служил, не служил также ни в Белой армии, ни у дашнаков, ни у грузинских меньшевиков, ни у муссаватистов, ни в белозеленых отрядах, ни у Махно, ни у Петлюры, ни у Гетмана, а также не имел отношения к басмачеству. Однако проживал в городе Белгороде, на территории, временно занятой белыми и до революции служил управляющим на сахарном заводе Воскресенского.

Судя по художественным открыткам, отовсюду посылавшимся сначала невесте, а потом жене, бабушке моей Рахили Исааковне Спиваковой, при царском режиме дедушка много разъезжал по служебной надобности и часто наведывался в Москву. Но стоило произойти октябрьскому перевороту, как он сразу же начал расплачиваться за предыдущую свою жизнь, за службу у сахарозаводчика.

Вот эпизод раннего маминого детства: летний Курск, площадь, стенд с длинейшими списками «лишенцев». Принятая в 1918 году первая советская конституция в ст. 7 декларировала, что «эксплуататорам не может быть места ни в одном из органов власти», и определяла круг лиц, которые «не избирают и не могут быть избранными». А конституция 1924 года отнесла к разряду «лишенцев» не только тех, кто использует чужой труд или живет на «нетрудовой доход» ныне, но и тех, кто был таковым до революции. Таким образом, лишение избирательных прав по политическим и экономическим мотивам существовало в стране с 1918 по 1936 годы. В списке этих людей оказался и мой дедушка.

Еще курский эпизод, более поздний. Снова летняя площадь, наверное, та же самая. Дедушка арестован, а бабушка узнала, что в этот день мужа ее должны из одного

тюремного здания перевести в другое. Вместе с младшей дочерью – малолетней моей мамой, бабушка пришла сюда, чтобы увидеть мужа, взглянуть на него издали. Терпеливо ждали и дождались – из здания, расположенного с одной стороны площади, вышел дедушка в сопровождении двух конвоиров и прошел через площадь в другое здание, симметричное первому. И был в жизни семьи недолгий, странный, почти счастливый период, когда дедушка только ночевал в тюрьме, а днем работал в городе и иногда забегал домой.

Мало веселого помнила мама о своем детстве. Одно из немногих светлых воспоминаний: весенний день то ли в Курске, то ли уже в Харькове, старший брат Лева возвращается с ярмарки и приносит младшей сестре горсть глиняных бирюлек – крошечных тарелочек, чашечек, кувшинчиков, птичек. Если и случались в детской маминой жизни другие счастливые события (а они наверняка случались), то сопутствовавшие детству и последовавшие вслед за ним скитания и несчастья, напрочь стерли радостные воспоминания.

В Курске мама прожила дошкольное свое детство. Из Курска перебрались в Харьков. Из Харькова – в Новосибирск, поближе к отцу, сосланному в Колпашево,

столицу Нарымского края. Из Новосибирска – в Томск. В Томске семейство оказалось уже без матери. Бабушка моя в это время лежала в клинике имени Скворцова-Степанова, в Ленинграде, у Ивана Петровича Павлова. Увы, трагическая жизнь сломила бабушку, ее настигло тяжкое психическое заболевание, она впала в глубочайшую депрессию и умерла сорока шести лет от роду.

Есть фотография, сделанная в июне 1936 года. На фотографии восьмой класс Новосибирской школы № 50 (а в общей сложности за десять школьных лет, меняя адреса и переезжая из города в город, маме пришлось сменить девять школ). Мама моя в центре группы, в среднем ряду. Выглядит она на этом парадном, заранее запланированном фото, странно, одета небрежно – воротничок блузки, выпущенный поверх джемпера, смят и перекошен, взгляд отсутствующий, нездешний. А дело в том, что этот июньский день стал для мамы одним из самых горьких остановившихся мгновений жизни, и фотография зафиксировала это мгновение.

Как уже было сказано, бабушка лежала в клинике доктора Павлова, и Иван Петрович сам курировал ее лечение. И шло оно вроде бы успешно, брезжила надежда на бабушкино выздоровление, на скорое ее возвращение

домой. Но в феврале 1936 года Павлов умер, надежда рухнула, и в этот самый июньский день пришло известие, что домой бабушка не вернется.

Глядя на фотографию, мама всякий раз вспоминала, как пришла в тот день в школу, раздавленная и оглушенная страшной вестью. Как все уже приготовились фотографироваться. Как подруга ее Оля Лысяк (так на последующие шестьдесят три года, до самой своей смерти, маминой подругой и оставшаяся) выбежала ей навстречу, схватила за руку, втащила в центр группы и заставила сфотографироваться вместе со всеми.

И еще моя мама вспоминала о том, как за год до этого июньского дня, еще в Новосибирске, она, полная надежд, провожала свою маму в Ленинград, в знаменитую клинику, как вернулась с вокзала домой и с ужасом обнаружила чисто вымытые соседкой по квартире, влажные еще полы. А ведь всем известна верная примета: если человек уезжает из дома, пусть даже ненадолго, то в этот день ни в коем случае нельзя ни подметать, ни мыть полы в квартире. А если вымести или вымыть следы уехавшего человека, то человек этот может и не вернуться. И зачем, для чего эта соседка, конечно же, зная страшную примету, вымыла после бабушкиного отъезда пол в их общей квартире?

Бабушка умерла 28 января 1937 года. 19 декабря того же года арестовали дедушку, а 29 января 1938 года его расстреляли. Ровно через год после смерти жены. Последнего своего ареста дедушка ожидал, всех его сослуживцев к этому времени уже арестовали, на свободе оставался он один. Почему-то надеялись, что после 12 декабря 1937 года – дня выборов в Верховный Совет СССР, аресты прекратятся. Однако мистическая надежда не оправдалась. Уже после ночного обыска, перед самым своим уходом, в дверях, дедушка обернулся к семнадцатилетней дочери и грустно порадовался: «Хорошо, что мамы нет».

Решили, что передачи в тюрьму будет носить Иза, выглядевшая подростком. Старшего брата Леву следовало поберечь, он и так вел себя героически – наотрез отказался открещиваться от репрессированного отца и был изгнан из комсомола. А для того, чтобы предупредить о случившемся сестру Татьяну, жившую с новорожденным младенцем в пригороде Томска, маме моей на следующий день после дедушкиного ареста (в целях конспирации не утром и не днем, а поздним декабрьским вечером) пришлось поехать в глухой незнакомый поселок, не зная адреса, чудом отыскать сестру и запретить ей появляться в городе.

Однажды мама чуть было не встретила с дедушкой. На удивление симпатичный следователь по фамилии Кожевников, к которому маму провели бесконечными тюремными коридорами, разрешил передать дедушке запасные очки взамен разбившихся, и пообещал, что прямо сейчас, сию минуту, устроит свидание с ним. К несчастью, в этот самый момент привезли новую партию заключенных, началась суматоха, и Кожевников пообещал устроить свидание в следующий раз. А когда в назначенный день мама пришла в тюрьму снова, оказалось, что и сам Кожевников арестован.

Передо мной последняя весточка от дедушки, написанная корявыми крупными буквами-инвалидами, тупым синим карандашом. Конечно же, ни письма, ни самой короткой записки дедушка прислать не мог. Последняя весточка – это всего лишь доверенность. Вот ее текст: «Настоящим доверяю моему сыну Льву Фаустовичу Дасковскому получить причитающуюся мне зарплату и оплаченные билеты «Займа Оборона Страны». 21/ХІІ 37 г.» Ниже полустершаяся треугольная печать «Томский сектор УНКВД».

Чувствуется, что писал доверенность полуслепой измученный человек. Что произошло за эти два дня и две

ночи с моим дедушкой, что к этому моменту он уже претерпел, и что ему претерпеть предстояло? Последний дедушкин почерк ничуть не похож на четкую компактную графику открыток, которые он отовсюду посылал бабушке. Доверенность сохранилась потому, что деньги по ней получать не стали. И по странным законам времени должно было пройти более шестидесяти лет прежде чем скорбный документ, в следующем уже веке, всплыл из жалких останков семейного архива передо мной, внучкой – теперь уже ровесницей деда.

Недлинная фраза из-за крупных близоруких букв (понятно, что очки дедушкины уже были разбиты, и можно догадаться при каких обстоятельствах) не уместилась на тетрадном листке, дописывать пришлось на обороте. И случилось так, что этот незначительный документ стал последним посланием, отправленным дедом со своего крестного пути длиной в сорок дней. Удивительно, но ветхий листок, содержащий минимум информации, сохранил дедушкину муку и еще нечто такое, что трудно сформулировать, но можно ощутить.

Весной 38-го года мама узнала о дне и часе, когда где-то, то ли на окраине, то ли в пригороде Томска, родственникам заключенных сообщат приговоры,



вынесенные их близким. Собралась толпа. Ждали долго, но закончилось все быстро. Всех пустили в просторный двор, вынесли трибуну, на нее вскарабкался человек со стопкой бумажных листков. Сначала он перечислил фамилии людей (по маминым воспоминаниям десятка полтора, не более), получивших небольшие сроки. А потом зачитал длиннейший список и остальным собравшимся: женам, мужьям, детям, отцам и матерям, сообщил один общий приговор: «остальным – десять лет без права переписки». Как выяснилось впоследствии – шифр расстрела. И в результате этого приговора, спустя пятьдесят восемь лет, в наших с мамой руках оказался документ:

*06 декабря 1996 г.*

*№ Д-23/10-И-2441*

*Уважаемая Изольда Фаустовна!*

*На Ваше заявление сообщаем, что согласно документов архивно-следственного дела значится Дасковский Фауст Львович, 2 августа 1883 года рождения, уроженец с.Бурьинь Утинского уезда Курской губернии, начальник базы снабжения спортобщества «Динамо», проживал в г. Томске по ул. Тверской, 59, кв. 3, был арестован 19 декабря 1937 года и необоснованно обвинен как «участник контрреволюционной шпионско-диверсионной*

*террористическо-повстанческой «Польской организации войск» по ст. 58-2,-6,-8,-9,-10,-11 УК РСФСР.*

*Постановлением НКВД СССР от 14 января 1938 года был приговорен к ВМН – расстрелу.*

*29 января 1938 года приговор приведен в исполнение в г. Томске.*

*В настоящее время в бюро загс Советского района г. Томска направлено извещение для регистрации смерти, откуда Вы получите свидетельство о смерти отца.*

*Дасковский Ф.Л. реабилитирован 8 апреля 1958 года военным трибуналом Сибирского военного округа, определение № 425.*

*На момент ареста в состав семьи входили:*

*сын – Дасковский Лев Фаустович, 22 года, студент 3 курса Томского индустриального института;*

*дочь – Дасковская Татьяна Фаустовна, 23 лет, домохозяйка;*

*дочь – Дасковская Изольда Фаустовна, 17 лет, учащаяся 10 класса.*

*Все проживали в г. Томске по ул. Тверской, 59, кв. 3.*

*Начальник подразделения А.Д. Захаров*

К сведению читателей: 58-2 – подготовка вооруженного восстания и захвата власти; 58-6 – шпионаж; 58-8 – терроризм; 58-9 – диверсии на железной дороге; 58-10 – контрреволюционная пропаганда; 58-11 – участие в контрреволюционных заговорах и организациях.

Мама моя, прочитав страшный документ, не заплакала, а вздохнула с облегчением. Обрадовалась, что миновали дедушку этапы и лагеря, обрадовалась тому, что дедушкины муки не растянулись на годы, а закончились через сорок дней после ареста.

Обретением этого документа мы обязаны Марине Поливановой. Марину пригласили в город Томск на торжества памяти ее деда, философа Густава Густавовича Шпета. В этот город Шпета сослали (и некоторое время он преподавал в Томском университете), там же арестовали, а 16 ноября 1937 года расстреляли. И когда выяснилось в случайном разговоре, что и моего деда арестовали в том же городе, Марина предложила узнать о его судьбе. В культурном университетском Томске в начале 90-х издали книгу «Боль людская», посвященную памяти людей, репрессированных в 30-е, 40-е и 50-е годы. Раскрыв ее, Марина сразу же обнаружила фамилию моего деда.

Марина побывала там, где погребены тела

расстрелянных, теперь это мемориальное кладбище, и привезла фотографию этой местности. В тюрьме дедушки наши не встретились, разошлись во времени (Густава Густавовича убили накануне ареста Фауста Львовича), но погребены они, надо думать, неподалеку друг от друга. По Марининой просьбе сотрудник Томского «Мемориала» Николай Кандыба помог нам обрести трагическую справку, успокоившую мою маму. Большое ему спасибо, ведь на наши запросы ответов из Томского ФСБ мы не получали.

Со дня дедушкиного ареста начались одинокие мамины скитания и мытарства. Из дома ее вышвырнули (брат с сестрой давно уже жили отдельно), имущество семьи конфисковали. Случившееся так оглушило маму, что десятилетия спустя она не смогла ответить на мой вопрос: — А где и на что ты жила после ареста дедушки?

Мама немного помнила об этой зиме, о весне. Вспоминала только, что когда в июне 38-го окончила школу, день этот, для кого-то радостный, для нее оказался грустным — не с кем было поделиться этим событием, никто за нее не порадовался. Так случилось, что ни брату, ни сестре дела до нее не было. Впрочем, маме повезло. Ведь и ее могли арестовать, и она могла пройти тот ужасающий путь, которым прошли и на котором погибли тысячи тысяч ее

ровесниц.

К собственному изумлению мама с легкостью поступила в Томский мединститут (ведь она с детства мечтала стать врачом), но проучилась всего семестр. Выяснилось, что детям репрессированных родителей учиться разрешается, но стипендии и общежития им не полагается. Зато всем без исключения стипендию давали на десятимесячных курсах немецкого языка при Томском педагогическом, и мама поступила туда. Хотя в школе немецкий язык ненавидела, и в страшном сне не могло ей привидеться, что он станет ее профессией. Но выбирать не приходилось, делать было нечего, мама сосредоточилась, окончила курсы и получила распределение в среднюю школу шахтерского города Прокопьевска.

А все мамины однокурсники, молодые врачи, девочки и мальчики (за исключением одной только маминой подруги Лиды Змиевой, рано вышедшей замуж и родившей дочку), сгинули на войне. В самом страшном ее начале мамин курс выпустили досрочно и отправили на передовую.

Мама прожила в Прокопьевске всего год, а в начале лета уехала в Москву, поступила в Институт иностранных языков и поселилась в семье тетки, сестры матери. Татьяна Исааковна Спивакова и муж ее, Наум Наумович Зислин, не

побоялись приютить мою маму – дочь репрессированного человека.

При поступлении в московский институт судьбу отца мама утаила, воспользовалась тем, что числилась некогда на иждивении матери и вписана была в ее паспорт. Мама легко сдала все экзамены, кроме последнего, самого страшного – немецкого сочинения. Сочинения мама боялась ужасно и не сомневалась в провале. Когда в день злосчастного экзамена абитуриенты пришли в аудиторию, обнаружилось, что свежевывкрашенные столы еще не просохли. Пришлось доставать из портфелей газеты и стелить их на липкие столешницы. Вот и мама моя поступила так же.

Объявленные темы ужаснули маму. В одной из них предлагалось проанализировать значение Горького для советской литературы. Мама приуныла, понурилась, но постепенно зрение ее сфокусировалось на газете, постеленной на липкий стол. Оказалось, что на газетном этом листе напечатана статья о роли Горького в советской литературе. Маме оставалось только перевести ее на немецкий язык, что она с успехом и сделала. А следующим летом началась война.

Кстати говоря, до шестнадцати лет маму звали не Изольдой. Она была просто Изой, есть такое еврейское имя.

Но когда мама пришла в райотдел милиции получать паспорт, начальник паспортного стола категорически отказался признать существование этого имени и своей властью переименовал маму из Изы в Изольду.

Чтобы не упустить и не позабыть то небольшое, что известно о семье бабушки Рахили Исааковны, придется попятиться во времени. Спиваковы жили в черте оседлости, в местечке Тростянец Сумского уезда. История семьи перенасыщена трагедиями. Прадед служил по торговой части, но однажды его ограбили, украли казенные деньги, и Исаак Маркович впал в глубочайшую депрессию. В соответствии с какой-то передовой для того времени медицинской методикой или просто в порядке эксперимента прадеду сделали пункцию спинного мозга, но так неудачно, что его необратимо парализовало. И на целых пятнадцать лет, до самой своей смерти, остался прадедушка Исаак в таком горестном состоянии на руках прабабушки Софьи Борисовны.

Старшая дочь Рахиль прожила мучительную жизнь и отчасти повторила судьбу отца. Сын Матвей восемнадцатилетним мальчиком умер от разрыва сердца, спасаясь от погони. Вторым сыном, Борисом, и женой его Марией погибли в Мариуполе, в оккупации, а их единственный сын,

мамин ровесник и друг детства, летчик Марк Спиваков – в воздушном бою. Дочь Полину (в замужестве Лебединскую), внучку Шуру и пятилетнего правнука Марка расстреляли в Харькове, в Дробицком Яре.

В октябре 41-го пришла телеграмма с сообщением о том, что все они: Поля, Шура и Марк едут в Москву. Но последний поезд из Харькова пришел без Лебединских. Со слов несостоявшихся их попутчиков вся семья уже сидела в вагоне, когда на вокзал прибежала невестка тети Поли, красавица Алла – русская жена сына Бориса, сапера-фронтовика, и напористо уговорила и без того сомневавшуюся свекровь остаться в городе. Зачем она это сделала, для чего ей понадобились родственники мужа – неразгаданная загадка. По рассказам соседей по дому Шуру удалось однажды выбраться с тракторного завода, из гетто, она пришла к Алле и умоляла ее переправить Марка в деревню к старым надежным друзьям. Была еще такая возможность, и были люди, успевшие ею воспользоваться и спасти детей. Алла в просьбе отказала, позволила Шуру вымыть голову и выпроводила из дома.

Узнав о гибели родных и о том, что после освобождения Харькова Алла уехала с немцами, офицерский свой аттестат Борис Лебединский стал высылать моей маме. А после



войны женился на львовской девушке Анне, чудом пережившей войну в лесах, настрадавшейся, уцелевшей, но потерявшей всех родных. Отца ее и братьев выдали немцам то ли польские, то ли украинские крестьяне. И в конце 50-х, благодаря довоенной принадлежности Львова Польше, Борис с Анной и сыном Соломоном уехали в Израиль и поселились в Иерусалиме. По слухам, строительная специальность Бориса пригодилась, он был востребован и благополучен, но на исторической родине прижился плохо, иврита толком не выучил, тосковал по России. А однажды, в начале 70-х, в радиопередаче «Где-то вы теперь, друзья-однополчане?» какой-то фронтовик призывал откликнуться своего друга, капитана саперных войск Бориса Лебединского.

Война нанесла огромный урон семьям Спиваковых и Дасковских. Дедушкины братья и сестры с чадами и домочадцами погибли в тех украинских городах и местечках, где жили до войны. Прабабушка Софья Борисовна Спивакова скончалась в 42-м одновременно с дочерью Полиной, сыном Борисом, мариупольским внуком-летчиком, харьковской внучкой, маленьким правнуком и другими близкими и дальними родственниками. Но не в гетто, а в эвакуации, в больнице уральского поселка

Дегтярка.

Но маму мою Господь хранил. Еще в самом начале войны, когда тетушка настаивала на мамином отъезде в Мариуполь, туда, где жила и вскоре погибла семья Бориса Спивакова, покладистая мама, к собственному удивлению и изумлению окружающих, взбунтовалась, разрыдалась и категорически отказалась уезжать. Вместо Мариуполя вместе с бабушкой поехала на Урал, в Свердловскую область, в поселок Дегтярка Ревдинского района (теперь это город Дегтярск). И перевезла к себе из Ижевска кухню Нелли, эвакуированную туда со школой в самом начале войны.

Путешествие за Нелли в город Ижевск осенью 41-го года было непростым предприятием. С боем прорываясь на переполненный пароход, мама, выглядевшая моложе своих двадцати лет, упирала на то, что едет за ребенком. Это производило впечатление. Совсем девочка с виду, а уже мать! Возвращались мама с Нелли на том же пароходе, с теми же попутчиками. – Где же ваш ребенок? – спрашивали попутчики. – Да вот он! – указывала мама на статную девушку с чудными бронзовыми косами, выглядевшую крупнее и представительнее тщедушной в те времена мамы, Нелли-то как раз и выглядела двадцатилетней. Эффектную

Нелли окружили восхищенные военные, но мама стояла на страже, обеспечивала сохранность и абсолютную неприкосновенность сестры. Во всеуслышание объявила, что сестре ее всего четырнадцать и категорически прекратила намечавшийся флирт. Конечно, Нелли возмутилась и обиделась, но зато мама выполнила стоявшую перед ней задачу.

В Дегтярке мама с Нелли поселились в семье славной женщины, в доме на опушке соснового бора. Нелли училась в школе, мама работала в местном архиве. Оказалось, что у старинной чертежной кальки, захламлявшей помещение архива, батистовая основа. Сотрудницы размачивали древнюю кальку, кипятили ее, и регенерированный батист обменивали на молоко. А еще в Дегтярке у мамы открылся талант гадалки. Приходили соседки, за гадание расплачивались молоком, а иногда даже яйцами. И в результате мама, приехавшая в Дегтярку с открытой формой туберкулеза, вернулась в Москву выздоровевшей, с зарубцевавшимися кавернами. Оказывается, сосновый воздух и молоко самые необходимые для излечения туберкулеза компоненты. Таким образом, в эвакуации, не догадываясь об этом, мама попала в санаторные условия.

Уберегла судьба маму и от большой беды. Семья хозяев,

коренных уральских жителей, состояла из кладовщицы дегтярской шахты Марьи Ивановны, старшей и любимой дочери Тоси – семнадцатилетней красотки, не слишком красивой, но доброй и работающей Магдалины – девочки четырнадцати лет, и восьмилетнего Володи. Старший сын Марьи Ивановны, Аркадий, воевал. Маму с Нелли поселили в комнате Аркадия, на первом этаже двухэтажного дома. Первый этаж, огород и «стайка» за огородом – все это принадлежало Марье Ивановне. Стайкой на Урале называют хлев, и, стало быть, в стайке жила кормилица-корова.

Хозяева оказались гостеприимными людьми, эвакуированных девушек встретили приветливо. Кроме мамы и Нелли у Марьи Ивановны квартировал еще лейтенант Володя из формировавшегося в Дегтярке танкового полка. И у Володиного друга Саши, тоже лейтенанта, завязался с красавицей Тосей пылкий роман. Марья Ивановна бурно протестовала, ссорилась с Тосей, уверяла ее, что Саша женат, грозилась лишить наследства и выгнать из дому, запирала в комнате, отбирала одежду. Естественно, мама помогала Тосе, почти ровеснице, одалживала единственный приличный костюм, выпускала на свидание через окно своей комнаты, на рассвете

впускала обратно.

Между тем наступило лето 43-го года, москвичи начали возвращаться в столицу. Нелли получила вызов первой, со дня на день ждала его и мама. И в один из последних дегтярских маминых дней случилось несчастье с лейтенантом Володей, тем самым, что квартировал у Марьи Ивановны. Володя учил солдат разряжать гранату, неудачно выдернул чеку, граната взорвалась, и в муках, по дороге в госпиталь, Володя скончался. Марья Ивановна пришла в отчаяние, расплакалась и сказала маме: – Чувствую, не увижу я больше своего Аркадия /старшего сына/. Знаю, он погиб.

А на следующий день у Марьи Ивановны пропала корова. Обыкновенно корова паслась самостоятельно и с наступлением темноты дисциплинированно возвращалась с выгона в свою стайку. Но на этот раз не вернулась.

Магдалины в Дегтярке не было, вместе с классом она уехала на торфяные разработки. Остались дома вчетвером: Марья Ивановна с маленьким Володей, Тося и мама. Всю ночь и еще день Марья Ивановна понапрасну прождала корову. В двух шагах от дома стеной стоял настоящий дремучий бор, корова могла заблудиться, ее могли задрать волки.

На рассвете следующего дня в мамину комнату постучали, и Марья Ивановна попросила запереть за нею входную дверь. Мама вышла в коридор и спросонья увидела на фоне открытой двери, в контражуре, женскую фигуру в желтом репсовом платочке, том самом, который сама она и подарила Марье Ивановне. Дверь закрылась, мама ее заперла и побрела досыпать. А Марья Ивановна отправилась в лес искать корову. Через несколько часов явился посланец с шахты. На шахте Марья Ивановна заведовала съестными припасами, но на работу в этот день не вышла. Мама знала, в кармане какого халата лежат ключи от кладовки, и отдала их посланцу.

Марья Ивановна не объявилась ни в этот день, ни в следующие. А вот корова нашлась – сама вернулась. Через день после исчезновения Марьи Ивановны мама заглянула в хозяйскую комнату и в широкой материнской кровати увидела Тосю с Сашей. Но отчего-то кровать поменялась местами с платяным шкафом. Мама перепугалась, спросила Тосю, что же будет, когда мать вернется. – Да ничего не будет! – беспечно и весело ответила Тося.

Тем временем по поселку прошел слух, будто по лесу бродит женщина в желтой косынке, определенно не в себе. Подразделение солдат отправили на поиски, обшарили

местность – безрезультатно. Вызвали Магдалину, из дальнего поселка приехали сестры Марьи Ивановны. На Урале существует поверье, будто бесследно пропавшего, потерявшегося человека нужно отпеть в церкви. И если он жив, то после отпевания непременно вернется. Марью Ивановну отпели, но она не вернулась. Тося с Магдалиной поделили имущество. Магдалине досталась материнская шуба, кое-какой домашний скарб, и со всем этим добром она перебралась жить к теткам. Дом, корова и маленький братец остались Тосе. Неожиданно, среди лета, Тося попросила маму помочь ей истопить громадную русскую печь. Зимой в этой печи хозяева и белье кипятили, и еду готовили, и даже мылись, а летом пользовались времянкой.

К концу августа мама получила вызов из института, пришла пора отправляться в путь (ближайшая к Дегтярке железнодорожная станция называлась «Капралово»). Погрузили вещи на подводу, стали прощаться. Тося так радовалась за маму, так нежно с нею прощалась, что растрогала маму до слез. Возвращение в Москву и самой ей казалось небывалым счастьем. А поздней осенью Нелли получила письмо от одноклассницы, и в письме рассказ о развязке дегтярской драмы.

Итак, вскоре после маминого отъезда соскучившаяся по

дому Магдалина приехала навестить сестру и брата. Но особенно соскучилась Магдалина по корове, которая прежде была на ее попечении. Приехала и сразу же отправилась в стайку. Тося плохо заботилась о корове, хлев запустила. Магдалина взяла лопату, принялась чистить хлев и обнаружила присыпанное землею корыто. А в корыте – разрубленную на куски Марью Ивановну.

На следствии обнаружилось, каким хладнокровным, коварным и физически сильным человеком оказалась хрупкая тоненькая Тося. И каким страстным!

Марья Ивановна всегда спала вместе с маленьким сыном. В ту самую ночь, когда в доме остались четверо, Тося осторожно перенесла брата в смежную комнату, вернулась, зарубила топором спящую мать, проделала ряд последующих ужасающих процедур, а утром ей хватило сил инсценировать уход Марьи Ивановны на поиски пропавшей коровы. Спросонья мама и голос Тосин приняла за голос Марьи Ивановны, и фигура ее в дверях почудилась. На самом же деле Марье Ивановне принадлежал один только желтый репсовый платок. А шкаф пришлось передвинуть потому, что кровь брызнула на стену. И печь Тося решила протопить для того, чтобы прокалить топор, удалить следы крови.



Во время следствия открылось, что лейтенант Саша, как и чувствовала Марья Ивановна, и вправду женат, что у него двое детей, а от Тоси он категорически отказался.

Свидетели показали, будто Тосе во всем помогала эвакуированная девушка-жиличка из Москвы. Плохи были бы мамины дела, если бы не Тося, заявившая, что сделала все совершенно самостоятельно, а если бы москвичка вздумала помешать, то зарубила бы и ее. К счастью, мама в ту страшную ночь крепко спала.

Тосю осудили на десять лет. Приговор смягчили, потому что дядюшка лейтенанта Саши, большой военный чин, организовал чьи-то показания о том, что убиенная Марья Ивановна имела обыкновение ругать советскую армию. Тося не пережила Сашиного отречения, разорвала на полосы юбку и удавилась в тюремной камере. А старший сын Марьи Ивановны, Аркадий, не погиб на войне, остался жив и вернулся в Дегтярку. Но с матерью, как и предчувствовала Марья Ивановна, не встретился.

До двадцати шести лет мама скиталась по чужим домам и углам, сначала с семьей, потом в одиночестве. И уже в Москве, когда случалось ей брести по вечернему городу, мама смотрела на разноцветные окна, представляла, как, должно быть, уютно живется за ними людям, и мечтала о

своим собственном окне. Мечта эта казалась ей фантастической.

Но в 1946 году мама вышла замуж. Свадьбы не было, просто сложила вещички (набралось их всего-то полчемодана, да и то только те, что купили в складчину институтские подружки) и на троллейбусе «Б» вместе со свежее испеченным мужем минут за двадцать доехали по Садовому кольцу до Зубовской площади, а оттуда не более семи минут до нашего Мансуровского переулочка. Так что за полчаса мамина жизнь переменялась, и теперь ей стало рукой подать до института. В семье тетки маминому замужеству не обрадовались, к отцу моему отнеслись скептически. – Не знаю, Иза, – сказал маме дядя Наум, – будут ли у тебя маленькие дети, но большим ребенком ты себя обеспечила.

Выйдя замуж, мама обрела пристанище, но пока еще не окно. Семья мужа жила в двух смежных комнатах, в одной из которых для молодой семьи выгородили восьмиметровое жизненное пространство. В выгороженном пространстве имелась дверь, но не окно, свет брезжил из-под потолка, из-за перегородки. Свое собственное, теплое, светящееся по вечерам окно появилось через два года, перед самым моим рождением. Не хотела мама растить ребенка в вечных

сумерках и добилась разрешения пробить окно в кирпичном брандмауэре нашего дома.

Поселившись в семье мужа, неленивая мама мгновенно включилась в нелегкий коммунальный быт. После войны он навалился особенно яростно, и семейное хозяйство упрощено было до крайности. И действительно, кухонно-коридорное общение с квартирными нашими шариковыми с их уголовными повадками и хамскими выходками хотелось свести к минимуму. Это потом уже мама приручила соседей, освоила квартирное пространство, и я не чувствовала себя чужой на дремучих ее просторах. Короче говоря, с маминым появлением у семьи отца появился шанс хотя бы отчасти укротить быт. Маму не пугала ни вечная борьба с керогазом, ни бельевые баки, ни дежурства по квартире, ни плотное общение с гегемонами. Она и не такое видывала.

Жизнь преподавала маме науку общежития, научила строить отношения с людьми разных профсоюзов. В мамином общении с самыми разнообразными персонажами не было и тени фальши. В ее характере напрочь отсутствовали спесь и высокомерие, но присутствовало столько интереса к людям, живого участия и желания помочь, что люди сразу же ощущали качество и объем ее

душевных ресурсов. В мамином представлении о человеческом общении на первом месте стояли сочувствие и действенная помощь.

И дружила она с женщинами удивительными. Нельзя сказать, что благодаря маме сквозь жизнь нашей семьи прошли люди редкостных душевных качеств. Они не прошли сквозь нее, а сплелись с нею. Многие из них были на поколения старше мамы. Что, в контексте раннего маминого сиротства, не удивительно. И она преданно заботилась о своих старших подругах до конца их жизней. А друзьям позднейших призывов мама была верна до конца своих дней.

И хотя всю свою жизнь мама была оплотом семьи и опорой друзей, сама она жила, по выражению Анны Андреевны Ахматовой (услышанном и записанном тетушкой моей Татьяной 23 февраля 1957 года), «оглушенная шумом внутренней тревоги». Этим неизбывным и мучительным свойством мама обязана драматическим, нестабильным, а порой и трагическим обстоятельствам детства и юности. Запас нервной, физической и психической прочности на весь свой век человек получает в детстве. От чего зависят объем его и качество? От условий жизни? От воспитания? От

доставшихся ему генов? Ресурс, отпущенный ей, мама использовала правильно и израсходовала его полностью. Она мужественно справилась с обстоятельствами, грозившими заблокировать судьбу и перекрыть все пути, выучилась, создала семью и обеспечила ее существование. Про запас, для себя, для собственного комфорта сил нервных и психических не оставила ни капли. Уровень маминой тревожности во много раз превышал норму (если таковая существует) и изнурял ее. Повышенная ее уязвимость требовала от близких людей особого отношения.

Увы, но вошедшую в дом мою маму семья отца встретила настороженно. И правда, мама принадлежала к иному кругу, чем тот, в котором вырос отец. Мало ли чего можно было ожидать от этой провинциальной сироты из совсем другого, чужеродного мира. Удивительно, отчего у близких, любящих людей так плохо обстоит с интуицией? Со здравым смыслом? С терпимостью? Но с другой стороны, как было догадаться, что маму послал моему отцу сам Господь Бог?

Вовсе не обладая крепким здоровьем и большим запасом физических сил, мама безропотно, как само собой разумеющееся, взвалила на себя все заботы,

сопутствовавшие жизни семьи. Работая на полной ставке в своем институте, параллельно вела языковые группы в нескольких НИИ, давала частные уроки, уставала до изнурения, до обмороков. И при такой нагрузке, используя любую паузу, умудрялась много читать.

А еще в детстве моем и отрочестве мама увлеченно вышивала, потому что всю жизнь испытывала потребность в творчестве. Привлекали ее исключительно крупные формы. Всякая мелочь, вроде салфеток и воротничков, маму не интересовала. Она вышивала огромные скатерти и щедро дарила их окружающим. А потом увлеклась вязанием. Страстно погрузилась в эту стихию и связала сотни изумительных, небанальных, творческих вещей. Все созданные (а не просто связанные) ею вещи оказывались неповторимыми, уникальными. Вязала мама, как уже было сказано, с азартом и с таким пылом, что одела в свои произведения множество родственников, знакомых и даже полужнакомых людей. А в последние годы вновь принялась за вышивание. Я бесконечно дорожу неожиданными по композиции, сложными и тонкими по колориту мамиными вышивками. Работы эти более всего похожи на живопись, хотя утилитарно это всего лишь подушки. Что-то важное зашифровано в странных, иррациональных изображениях –

временами фигуративных, иногда абстрактных.

Последняя вышивка не окончена. В отличие от предыдущих композиций на этот раз мама задумала жанровый и вроде бы банальный сюжет – лодку с фигуркой, пересекающую водное пространство, плывущую к домику замысловатой архитектуры, виднеющемуся на дальнем берегу. Мама вышила домик, небо, склоны, лодку и фигурку. А самое важное – воду, оставила напоследок. Придумала, как будет ее вышивать, подобрала нитки множества сложных оттенков и с нетерпением и азартом, знакомыми каждому художнику, предвкушала этот этап работы. Но до воды дело не дошло, для воды сил не осталось, пластическую свою идею мама осуществить не успела. Иголка с вдетой в нее синей ниткой так и осталась воткнутой в канву.

Обстоятельства жизни сформировали маму таким образом, что вообразить ее в состоянии бездействия, ничегонеделанья невозможно. И когда в ее юности (в уже московские, но еще довоенные времена) кто-нибудь изумлялся Изиному трудолюбию, тогда еще живая мамина бабушка Софья Борисовна объясняла: – Никакая Иза не трудолюбивая, если б она могла, то ничего бы не делала, просто у нее другого выхода нет. – Выхода действительно

не было, и в более поздние, послевоенные, студенческие годы, кузина ее Нелли, студентка МГУ, удивлялась: – Легко же учиться в вашем институте, если ты можешь одновременно картошку чистить, стирать и к экзаменам готовиться.

Трудовая мамина эпопея, развернувшаяся по второму заходу уже после ее выхода на пенсию, заслуживает отдельного отступления. Прослужив тридцать лет в своем институте, к изумлению сослуживцев оставив должность заведующей кафедрой, мама ушла с работы. Первое время давала частные уроки, недостатка в учениках не было. Но наступил предел ее педагогического терпения. – Больше о преподавании думать не могу! Устала! – сказала мама. – А работать буду.

С трудовой книжкой, в которой вписано было единственное место службы, мама принялась искать работу по душе и за несколько лет испытала себя в разных областях и обстоятельствах. Всюду ее принимали с радостью и отпускать не хотели. Превосходно справляясь с любыми обязанностями, мама не прикипела душой ни к работе страхового агента, ни к должности кассира в книжном магазине «Дружба», не почувствовала себя на своем месте в ларьке «Спортлото», в химической



лаборатории, в районной библиотеке, а также на других, уже позабытых мною службах. Но неожиданно нашла свою нишу – нашу родную районную поликлинику. И проработала в ее регистратуре целую эпоху (да еще какую – с 1982 по 1999 год), то есть полных семнадцать лет.

Несмотря на скромную должность, мамин статус в этом лечебном учреждении был высок. Не погрешу против истины (так как знаю об этом от ее сослуживиц и сослуживцев – медицинских сестер и врачей, относившихся к маме с уважением и нежностью), если скажу, что мамино присутствие в этом казенном и не слишком приветливом учреждении украсило, смягчило и облагородило его. Дружбой и даже приятельством с мамой гордились, ей исповедовались, а советы ее высоко ценились.

Возвращаясь же в давние годы, нельзя не посетовать, что бабушка с дедушкой спасительности маминого явления в папиной жизни не ощутили. Да и можно ли их за это упрекнуть? Тетушка-то моя, Татьяна, прекрасно поняла это со временем, а бабушка с дедушкой не успели оценить жизненной удачи сына-художника. А ведь могло сложиться иначе. На парном портрете 46-го года две женские фигуры в интерьере: Танина – стоящая, и мамина – сидящая, обе написаны с поразительным сходством и большой любовью.

В Таниных руках книга, вероятно, она читает вслух, а мама (и дедушка с бабушкой, на картине не изображенные, но в комнате, несомненно, присутствующие), слушают. В доме холодновато – Таня прислонилась спиной к кафельной печке, мама сидит на диване, накинув на плечи зимнее пальто. Портрет чудесный – из серии остановившихся мгновений.

Тане, человеку блестящему, а при желании и неотразимому, ничего не стоило покорить маму. Девушка из иной среды, оказавшаяся в кругу московской художественной интеллигенции, мама, хоть и робела, но радовалась семье мужа. Увы, новые родственники не помогли ей преодолеть стеснительность и прочие, неизбежные в этой ситуации комплексы, поспешили дистанцироваться от новорожденной семьи, посеяли зерна, из которых произросли отчуждение и обида. Проиграли все: бабушка с дедушкой, нуждавшиеся в простой житейской заботе и человеческом тепле – именно в том, чем с избытком могла и хотела поделиться с ними моя импульсивная, активно добрая мама; папа, обреченный на метания между женой и родителями, перепады отношений с любимой сестрой; мама, с погребенной под лавиной нестареющих обид, разрушенной мечтой о семье мужа, как

о своей родной; тетушка, и сама страдавшая от собственного, временами колючего нрава и покореженных ненужными испытаниями семейных отношений; я, сначала малолетняя, но постепенно подраставшая свидетельница и участница семейных перипетий.

Разумеется, ни скандалов, ни грубостей, ни запальчивых сцен в семье не случалось, но бывали угрюмые молчания, отчужденные взгляды, мамины слезы. К счастью, глобального зла взаимные обиды и корявости не породили. А главное, несмотря на эти ненужные испытания, родители мои оценили друг друга, сроднились, срослись и за прожитые вместе сорок семь лет жизни о встрече своей ни разу не пожалели.

Пятнадцать лет нет на свете отца моего и тетушки, семь лет, как ушла мама, идет время, которое, по слухам, лечит, но я пока не ощущаю его благотворного воздействия.

2008

Судьбы детей Фауста Львовича Дасковского.

Дочь Татьяна Фаустовна Сердюк жила в Украине, дочь ее Ольга Сердюк, но общение между сестрами прервалось

перед войной и не возобновилось.

Сын Лев Фаустович окончил Горный институт, еще до войны был направлен в Джезказган и всю жизнь жил там и работал. С 1942 года (?) начальником шахты. Скончался скоропостижно в середине 70-х, то ли в 1975, то ли в 1976 г. Дочь Льва Елена, сын Юрий.

Дочь Изольда Фаустовна Дасковская закончила Институт иностранных языков в Москве, до пенсии (35 лет) преподавала немецкий язык в Московском институте тонких химических технологий. Дочь Ольга Алексеевна Айзенман (Вельчинская).